



## ПРИЗРАК В ЖЕЛТОЙ КОЛЯСКЕ

Да не нарушат покой мой больные грезы.  
Да не смутит меня могущество тьмы.

*Вечерний гимн*

Одно из немногих преимуществ Индии перед Англией заключается в возможности иметь обширные знакомства. Через пять лет службы человек прямо или косвенно знаком уже с двумя-тремя сотнями чиновников своего округа, со всеми офицерами десяти или двенадцати полков и батарей и больше чем с тысячью представителей прочего люда. За десять лет число его знакомств удваивается, а лет через двадцать он более или менее хорошо знает каждого англичанина этой части империи и может путешествовать всюду, не оплачивая счетов в гостиницах.

Праздношатающиеся туристы, требующие общения с людьми, уже на моей памяти несколько притупили это чувство благодушия и широкого гостеприимства. Но и теперь еще, если вы принадлежите к местному кругу и не смотрите волком на людей, для вас открыт каждый дом, и наш маленький мирок готов оказать вам любую помощь.

Лет пятнадцать назад Рикетт из Камарты остановился у Польдера из Кумаона. Он думал остановиться только на две ночи, но заболел ревматической лихорадкой. В течение шести недель он вносил хаос в дом Польдера, заставил его бросить все дела и в конце

концов умер чуть не в его спальне. Польдер держал себя так, будто был навеки связан с ним каким-нибудь обязательством, и ежегодно посылал маленьким Рикеттам ящик с подарками и игрушками. Мужчины, которые и не подумают скрыть от вас свое мнение, если считают вас ничего не смыслящим ослом, женщины, способные очернить вас и неверно истолковать склонность вашей жены к развлечениям, — те и другие лезут из кожи вон, чтобы помочь вам, когда вы заболите или когда вас постигнет несчастье.

Доктор Хизерли, вдобавок к обычной своей практике, устроил на собственные средства лазарет — конюшню для неизлечимых, как называл это его приятель, но на самом деле сносное пристанище для пострадавших от тяжких погодных условий. Погода в Индии часто бывает знойная, и так как вес переносимых кирпичей не меняется, а людям милостиво даруют возможность переутомляться, не получая взамен даже благодарности, то они иной раз валяются с ног и нуждаются в помощи.

Хизерли — самый милый доктор, который когда-либо жил на свете. Его неизменное предписание всем пациентам таково: «Не утомляйтесь, не напрягайтесь, не возбуждайтесь». Он говорит, что чрезмерная работа убивает больше людей, чем необходимо для благополучия этого мира. Он утверждает, что переутомление убило и Пансея, умершего у него на руках три года назад. Без сомнения, он имеет право так говорить и смеяться над моим предположением, что в голове Пансея образовалась трещина, через которую туда проникла частица потустороннего мира и довела его до смерти. «Пансей умер после воздействия на него продолжительного отпуска, проведенного на родине, — говорит Хизерли. — Возможно, он повел себя как подлец по отношению к миссис Кит-Уэссингтон, а возможно, и нет. Я склонен утверждать, что работа в Катабунди надорвала его силы и он начал придавать слишком большое зна-

чение обыкновенному флирту на пароходе. Он был обручен с мисс Маннеринг, и она, естественно, разорвала помолвку. Затем он схватил лихорадку, и тогда началась вся эта чепуха с призраками. Переутомление было главной причиной его болезни, не давало ему с ней справиться и в конце концов убило беднягу. Вините систему, заставляющую человека работать за двоих с половиной».

Я этому не верю. Мне приходилось сидеть с Пансеем, когда я не был занят, а Хизерли вызывали к пациентам. Пансей немало удручал меня своими бесконечными рассказами: тихим, монотонным голосом он твердил о видениях, которые непрерывной чередой проходили мимо его постели. Его речь была речью человека больного. Когда он приходил в себя, я просил его записывать все с начала до конца, полагая, что это облегчит его страдания. Так ребенок, узнавший новое ругательство, не успокоится, пока не напишет его мелом на чьей-нибудь двери. То же относиться и к литературе.

Однако писал он в таком лихорадочном возбуждении, что даже самые яркие и резкие выражения, которые он использовал, не смогли его успокоить. Через два месяца он был признан годным для исполнения служебных обязанностей, но, несмотря на то что его помощь была весьма необходима в одной из комиссий, где не хватало сотрудников, Пансей предпочел умереть, клятвенно заявив перед кончиной, что его мучают кошмарные видения. Эту рукопись он передал мне перед смертью, и я привожу ее здесь в том виде, в каком она была написана в 1885 году.

Мой доктор говорит мне, что я нуждаюсь в отдыхе и перемене климата. Нет ничего невероятного, что я скоро буду иметь и то и другое — отдых, который не в состоянии будут нарушить ни курьер в форменной куртке, ни полуденный пушечный выстрел, и перемену климата в таких далеких краях, куда не довезет

меня ни один из наших пароходов. А пока я решил остаться там, где нахожусь, и, вопреки приказанию доктора, поведать всему свету о своих страданиях. Вы сами увидите, в чем заключается мой недуг, и сами сможете судить, есть ли еще человек, рожденный женщиной, на этой брэнной земле, который мучился бы так, как мучаюсь я.

Говоря теперь так, как может говорить приговоренный преступник в последнюю минуту жизни, я нахожу, что моя история, дикая и ужасная, может быть, и невероятная, заслуживает по меньшей мере внимания. Я, конечно, не рассчитываю, что мне когда-нибудь поверят. Да и сам я два месяца назад счел бы пьяным или сумасшедшим человека, осмелившегося рассказать мне что-либо подобное. Два месяца назад не было в Индии живого существа счастливее меня. Теперь от Пешавара до моря нет никого несчастнее. Только мой доктор и я знаем это. Он объясняет мои упорно повторяющиеся «галлюцинации» болезненным состоянием мозга, желудка и зрения. Хороши галлюцинации! Я называю его дураком, но он отвечает на это неизменной кротостью, приличествующей его профессии, с постоянной улыбкой на лице, украшенном аккуратно подстриженными рыжими бакенбардами. И я начинаю считать себя неблагодарным брюзгой. Впрочем, вы сами увидите и будете судить.

Три года назад я имел счастье — или величайшее несчастье — плыть на пароходе из Грейвзенда в Бомбей, возвращаясь из отпуска, с некоей Агнесой Кит-Уэссингтон, женой офицера, служившего в Бомбее. Вам нет нужды знать, что это была за женщина. Достаточно сказать, что к концу путешествия мы были влюблены друг в друга безумно и безнадежно. Видит Бог, что я говорю это без малейшего хвастовства. В делах подобного рода всегда бывает так, что один дает, другой принимает. С первых же дней нашей роковой любви я увидел, что чувство Агнесы более сильное, более захватывающее и более — если

можно так выразиться — чистое, чем мое. Сознавала ли она это, я не знаю. Кончилось это одинаково скверно для нас обоих.

Приехав весной в Бомбей, мы расстались, чтобы встретиться месяца через три-четыре в Шимле, куда ее привела любовь, а меня — отпуск. Здесь мы провели вместе сезон, по истечении которого пламя моего костра печально угасло. Я не оправдываюсь. Миссис Уэссингтон дала мне много и была готова отдать все. От меня же она узнала в августе 1882 года, что я устал от ее общества, что мне надоело видеть ее, надоело слышать ее голос. Девяносто девяти женщинам из ста так же надоел бы я, как она мне, семьдесят пять из этого числа с гордостью отвернулись бы от меня и в отместку стали бы флиртовать с другими мужчинами. Миссис Уэссингтон была сотая. На нее несколько не действовали ни мое явно выраженное пренебрежение к ней, ни мои дерзкие выходки во время наших свиданий.

— Джек, дорогой! — был ее вечный, жалобный припев. — Я убеждена, что все это — только ошибка, ужасная ошибка. Придет время, и мы вновь станем друзьями. Прошу тебя, прости меня, Джек, дорогой!

Я знал, что обижаю ее. И это сознание превращало жалость в терпеливое безразличие, а затем, мало-помалу, во все возрастающую слепую ненависть к ней — похожий инстинкт побуждает человека с дикой ожесточенностью раздавить паука, наполовину уже убитого им. С этой ненавистью в душе я подошел к концу сезона 1882 года.

В следующем году мы снова встретились с ней в Шимле — она все с тем же грустным лицом и робкими попытками примириться, я — с отвращением к ней, которое ощущал каждой клеткой своего существа. Случалось, что я не мог избежать встречи с ней наедине, и каждый раз она обращалась ко мне все с теми же словами. Все те же глупые сетования на то, что все это была «ошибка», и все та же надежда на то,

что мы «вновь станем друзьями». Я мог бы увидеть, пожелай я только обратить на это внимание, что лишь этой надеждой она живет. Она бледнела и таяла день ото дня. Вы должны согласиться со мной, что все это могло вывести из терпения кого угодно. В таком отсутствии женской гордости было что-то детское. Я утверждаю, что вина в значительной степени лежала именно на ней. И все-таки иногда, в темные, бессонные ночи, я начинал думать, что мог бы относиться к ней с большей добротой. Вот что и впрямь можно считать «галлюцинацией». Не мог же я притворяться, что люблю. Это было бы нечестно по отношению к нам обоим.

В последний год мы опять встретились — в тех же обстоятельствах. Те же надоедливые возгласы и те же краткие ответы с моей стороны. Наконец, я должен был дать ей ясно понять всю нелепость и безнадежность ее попыток вернуть прежние отношения. К концу сезона мы окончательно расстались; ей трудно стало видеться со мной, ибо меня уже целиком захватило новое увлечение. Когда я теперь вспоминаю об этом в больничной палате, сезон 1884 года представляется мне призрачной ночью, где свет и тени фантастически перемешиваются. Мое увлечение маленькой Китти Маннеринг; мои надежды, сомнения, страхи; наши продолжительные верховые прогулки вдвоем; мое трепетное признание; ее ответ; и потом опять это видение — бледное лицо, промелькнувшее в коляске с рикшами в черно-белых ливреях, которое я поджидал когда-то с таким нетерпением; движение обтянутой перчаткой руки миссис Уэссингтон и, когда мы встречались с ней наедине, что было очень редко, ее грустный, унылый призыв. Я любил Китти Маннеринг, любил искренне и глубоко, и по мере того, как эта любовь усиливалась, во мне росла и ненависть к Агнесе. В августе мы с Китти обручились. А на следующий же день я увидел этих рикш в сорочьем одеянии и, движимый чувством сострада-